



Ольга РУМЯНЦЕВА

К 50-летию
со дня
рождения
В. М. Шукшина

С СЕРДЦЕМ ЧИСТЫМ

В один из непогожих осенних дней 1960 года в небольшую комнату отдела прозы журнала «Октябрь» вошел человек среднего роста, неказисто одетый — студент ВГИКа Василий Шукшин. Исподлобья, с недоверием посмотрел на меня, неохотно вытащил из кармана свернутую в трубку рукопись и протянул мне.

— Зря, наверное... — сквозь зубы произнес он. А сам подумал (как потом мне рассказывал): «Все равно не напечатается!»

...Рассказы Шукшина сразу захватили меня. Поразило удивительное умение несколькими штрихами нарисовать героя, найти деталь, подчеркивающую характер. При этом не оставляло ощущение внутренней духовной силы автора, его стремления заглянуть в глубь души человеческой и выявить самую суть этой души.

Рассказ о Стеньке Разине вызвал в редакции наибольшие споры. Первая его половина была написана великолепно. Хорош был Васека — главный герой рассказа, — так верно схвачен, будто взят прямо из жизни. А вторая половина показалась нам слабее. Особенно не понравился момент, когда Васека, вырезав из дерева Стеньку Разина, показывает свое творение учителю Захарычу...

Вся эта сцена была полна такого динамичного, быстро сменяющегося действия, что изобразить все это в скульптурной группе было просто невозможно. Здесь чувствовалась неестественность, надуманность.

Шукшин внимательно выслушал наши замечания, помолчал...

— Его ведь предали, Степан-то. Свои предали... Заманили и схватили... А он верил им...

Сказал с горечью, с какой-то внутренней болью. Чувствовалось, что самый факт этот для него гораздо важнее того, что получилось в рассказе. Конечно, никто тогда не знал, какой важной, можно сказать, магистральной темой станет в творчестве Шукшина тема Разина.

Рассказы Шукшина обсуждались на редколлегии журнала «Октябрь». Мнения о них не были единодушны. В конце концов было решено: рассказы Шукшина с автором доработать и публиковать.

При журнале «Октябрь» долгое время существовало литературное объединение молодых авторов — прозаиков и поэтов. Я входила в его бюро и потому была тесно связана с нашими «объединенцами» (как мы их тогда называли).

Однажды пришел к нам Шукшин. Крепкий, коренастый, он вошел в комнату, стянул с головы рыжую потрепанную ушанку и остановился у двери.

— Шукшин, — бросил он коротко и посмотрел испытующе на окружающих. Суровым и нелюдимым показался он тогда. Пригласили к столу. От чая Шукшин решительно отказался. Чувствовалось, что и читать что-либо из своих произведений он явно не намерен. Но я все-таки его упростила.

Шукшин сел в самый дальний угол, к печке, вытащил из кармана тетрадь и стал читать. Прочел рассказ. Все стали просить еще... И вот он читает второй, третий... Так и читал он весь вечер негромким, но твердым голосом. Кончил как-то внезапно: остановился и закрыл тетрадь. Очевидно, долгое чтение было для него непривычным.

— Все! — сказал, помолчал и, пожав плечами, добавил: — Вот зачитался-то!

И вдруг впервые за весь вечер поднял голову и улыбнулся: почувствовал, видимо, что рассказы взволновали слушателей. Улыбнулся такой хорошей, доброй, открытой улыбкой, что всем стало радостно.

Шукшин стал часто приходить к нам, как говорил, «просто так, посидеть...». Любил вечера, когда мы все после работы собирались дома, читали что-нибудь или рассказывали. Он устраивался непременно в углу. А иногда садился почему-то прямо на пол, на корточки, и негромким голосом начинал петь. Он любил песни. Пел разные, больше сибирские: «Глухой неведомой тайгой» или «По диким степям Забайкалья»... Пел медленно, протяжно, словно раздумывал над чем. И так горько, тоскливо становилось на душе... Но вдруг, резко меняя тон, весело, как-то даже озорно начинал:

Эх, воля, моя воля!
Воля вольная моя,
Воля — сокол в небесах,
Воля — милые края!

Был Шукшин до крайности застенчив, стеснителен, замкнут. Трудно сходил с людьми. Когда к нам приходили знакомые, он обычно замыкался, уходил в себя, отъединялся. Никогда не поддерживал общий разговор. И лишь изредка загорался и начинал рассказывать смешные случаи из своей жизни. Помню, мы много смеялись, когда Шукшин рассказывал, как однажды поехал он в Сибирь навестить мать и сестру. По дороге зашел в магазин купить им гостинцы. И вдруг увидел на полу валяется пятидесятирублевка. Он поднял ее над головой и, помехивая, торжественно заявил покупателям: «Хорошо живете, граждане! У нас, в Москве, такими бумажками не швыряются!»

Каково же было его изумление, когда, сунув руку в карман, он понял, что деньги-то были его!

Спустя несколько лет этот эпизод вошел в его рассказ «Чудик».

«Из Лебяжьего сообщают» — дипломная работа Василия Шукшина. Он сам написал сценарий, получивший высокую оценку Михаила Ильича Ромма, поставил его и сыграл одну из главных ролей.

На экране Шукшин сумел найти выразительные средства, чтобы интересно и ярко показать человеческий характер. Детали обстановки, жест, манера гово-

рить, даже походка героя — все у него имело определенную смысловую нагрузку и красноречиво говорило зрителю, что за человек перед ним.

Мое ощущение, что Степан Разин как-то по-особенному дорог Шукшину, неожиданно получило подтверждение.

Был один из первых дней нового, 1961 года. У нас в доме стояла елка. Настроение у всех было в этот вечер еще новогоднее: шутили, смеялись, потом стали читать стихи. Каждый читал любимого поэта. Попросили почитать и Шукшина. Всем хотелось узнать, какие он любил стихи. Шукшин долго отнекивался, потом вдруг махнул рукой и согласился.

— Только погасите свет, пусть горит одна елка! Ладно? — попросил он.

Свет погасили, Шукшин сел на краешек дивана и стал читать. «Но что это он читает? — подумалось мне. — Такого поэта я не знаю!» И вдруг меня осенило: ведь это его стихи! Он свои читает! По форме стихи, возможно, и были несовершенно, однако, чем дальше он читал, тем больше захватывал слушателей.

В стихах говорилось о казацкой вольности, смелой удали, о бунте против гирании, против царя... В голове мелькнуло: да ведь он о Разине читает, о разинском восстании!

От его стихов веяло сибирской широтой, силой, удалью и такой самозабвенной любовью к свободе, такой страстной ненавистью к гирании, что все мы невольно поддались его настроению.

Все сидели ошеломленные под впечатлением услышанного. А когда опомнились, оказалось, что времени уже три часа ночи. Шукшин тут же собрался уходить. Но транспорт давно не работал, а жил Шукшин в общежитии ВГИКа, на другом конце города. Мы стали просить его переночевать, но он наотрез отказался.

— Как же вы доберетесь, ведь идти через весь город?! Оставайтесь! — пыталась я уговорить его.

— А я — на такси! — озорно, с веселой улыбкой ответил он.

И только много лет спустя, когда мы однажды вместе с ним вспоминали тот вечер, Шукшин признался, что денег у него тогда не было ни копейки, и весь остаток ночи он шел к себе в общежитие пешком через весь город.

— А знаете, я с удовольствием вспоминаю ту ночь, — сказал он. — Уж больно на душе хорошо было!

...Когда впоследствии я узнала, что Шукшин работает над сценарием о Степане Разине, то несколько не удивилась. Было уже видно, как захватил его по-

мысли Разин. Шукшин хотел написать сценарий строго на документах.

— Порой за сухими словами скрываются интереснейшие события, — говорил он. — Вот, например, прочел я письмо царя Алексея Михайловича боярам, где он приказывал допросить Разина: что за шуба, которая надела на Волге так много шума?.. И вот нашел я и еще документ, — сказал Шукшин, вдруг оживившись и блеснув глазами. Похлопал себя по карманам, достал записную книжку и прочитал: — Из расспросных речей в посольском приказе толмача Ивана Никитина: «Шел Стенька с Хвалынского моря и отнял-де боярин Прохоровский шубу и та-де шуба зашумела по Волге, а сукно-де по всей России зашумит».

И Шукшин подробно и увлеченно рассказывал, как алчный астраханский воевода выпрашивал у Разина приглянувшуюся ему собою шубу, как Степан отдал ее и лихо посмеялся над стяжательством воеводы. Он совершил это «подношение» при всем собравшемся народе и сделал воеводу посмешищем всего города. Рассказал и о том, какие трагические события развернулись в связи с этой историей.

С сердечной болью, изменившись в лице, говорил он о казни Степана, о муках и пытках, которые тот вынес с необыкновенным мужеством. Помню, меня поразило тогда, с какими мельчайшими подробностями знал он все, вплоть до устройства дыбы. А когда говорил, как пытали Степана, слова падали глухо, негромко.

Однажды Шукшин пришел к нам какой-то грустный, рассеянный, по-видимому, был чем-то огорчен. Разговор не клеился, и, чтобы немножко развлечь его, мы предложили послушать пластинку «Голоса русских писателей». Он охотно согласился, но слушал безучастно, до тех пор пока не раздался голос Есенина, читавшего монолог Хлопуши из поэмы «Пугачев».

Шукшин слушал молча, стоя, удивленно глядя на крутящуюся пластинку, точно видел за ней что-то другое...

Когда Есенин кончил читать, Шукшин сел и заплакал.

— Вот ведь оно как... — сказал он растерянно и потрясенно. И тут же собрался уходить. Ни о чем говорить в этот вечер он, видимо, больше не мог.

Но на другой день он пришел снова и прямо с порога попросил: «Пожалуйста, поставьте пластинку...»

В этот вечер он несколько раз подряд с неослабевающим вниманием слушал монолог Хлопуши. Говорить о чем-либо ему явно не хотелось. Он сидел молча, опустив голову. Только уходя, вдруг выпрямился, сверкнул глазами и весело, даже лихо сказал: «Чернь его любит за буйство и удаль». Помолчал и, отвечая каким-то своим мыслям, добавил: «И за ум — тоже!» И, улыбнувшись, ушел.

Никто из нас не сомневался в том, что, слушая отрывок из поэмы «Пугачев», Шукшин думал о Степане Разине, судьба которого так захватила его, что работа над темой о Разине становилась главным делом его жизни...

— Все время думаю о нем... Разин для меня теперь — вся моя жизнь! — признался он мне однажды.

— Как же получилось, Вася, что вы, можно сказать, сама современность, — и вдруг такое увлечение исторической темой?

— Так это не вдруг, — задумчиво, как-то даже сурово проговорил он, — давно интересуюсь крестьянами. Историю, их судьбы хочу изучить.

— А Разин? — продолжала я. — Разин... — он помолчал. — Народ любил его. Очень. Мало этого не пройдеши! Он кре-

стьян поднял. Свободу любил без оглядки, без удержу... думается, этим он и современен.

— Но ведь о Разине писали и Чапыгин, и Злобин, и многие другие. Разве вам не страшно вступать в соревнование с ними?

— Страшно, конечно... Что и говорить... — Он помрачнел, опустил голову. — И все же охота мне всю правду узнать о нем, душу его постичь.

Через несколько дней он зашел к нам с кипой книг:

— Из библиотеки тащусь! Читайте Ленина.

— Что именно? — спросила я.

— А помните, мы как-то говорили с вами о Разине и вы сказали, что Ленин писал о нем?

— Конечно, помню! Владимир Ильич произнес речь на открытии памятника Разину на Красной площади.

— А сегодня я нашел у Ленина еще о Разине! Вот, пожалуйста, статья: «О чем думают наши министры?».

Он вытащил из кипы книг одну и раскрыл ее. Это был том из собрания Сочинений В. И. Ленина.

— Итак, — начал Шукшин взволнованно, — 1895 год. Министр внутренних дел Дурново с возмущением пишет прокурору синода о том, что в письме, отбранном при аресте у преподавателя воскресной школы, идет речь о программе по истории и в ней (о ужас!) упоминается о бунте Разина и Пугачева! Больше двух веков прошло после восстания Разина, а за одно упоминание о нем все еще арестовывали! Вот такой Разин! — воскликнул он.

Вскоре я услышала от одного знакомого историка, профессора С. О. Шмидта, что журнал «Искусство кино» прислал ему на отзыв удивительную работу — сценарий Василия Шукшина о Степане Разине — и что он прочитал сценарий с огромным интересом.

Я рассказала профессору, что давно пристально слежу за литературной судьбой Шукшина и попросила показать мне рецензию, которую он послал в журнал «Искусство кино». С чувством большого удовлетворения узнала я, как высоко оценил работу Шукшина этот ученый — доктор исторических наук, специалист именно по этому периоду русской истории. Шмидт писал, что Шукшин не только очень серьезно изучил материал, но и сумел верно выразить дух той эпохи, что образ Разина, убежденного, мужественного народного вождя, получился глубоко впечатляющим.

Сценарий Шукшина был напечатан в журнале «Искусство кино» и вскоре получил премию как лучший сценарий года.

Однако съемки фильма все откладывались, и однажды Вася сказал, что задумывает новый сценарий.

Шукшин часто вспоминал село Сторки, в котором родился и где прошло его детство. Вспоминал, как мать рассказывала ему, что еще в старое время среди неграмотного, забитого нуждой люда встречались особенные, не похожие на других люди. Их считали юродивыми и за их необычность называли «чудиками».

— На самом же деле — это интереснейшие люди, — говорил Шукшин. — Есть и на моей памяти такие чудики...

— Знаете, — сказал он однажды, — они ведь талантливые, эти странноватые люди. В душе у них живет стремление выйти из обыкновенности. Сотворить что-то свое — особенное. На удивление и на радость людям. И в каждом из них глубоко сидит артист, художник, словом — творец...

Когда я смотрела фильм «Странные люди», меня поразило, с каким душевным тактом,

✓

теплотой и даже нежностью показал Шукшин этих людей.

Шукшин часто говорил мне, что любит наблюдать, как меняется жизнь, меняются жизненные процессы и в городе, и в деревне. При этом интересовала его не внешняя сторона дела, а внутренняя, духовная жизнь людей.

— Подсмотреть бы, — говорил он, — и узнать душу человека. Проследить за движением этой души! — Потом, прищурившись, задумчиво: — И сумею бы сказать людям всю правду о них! Вот что надо-то!

В этой связи мне вспоминается спор, который возник у нас по поводу рассказа «Срезал», где Шукшин жестоко высмеял зазнайство и невежество деревенского мужика Глеба Капустина. Начитавшись книг без разбору (какие попадались под руку), Глеб считал себя высокообразованным человеком и любил «срезать» каждого приехавшего в деревню интеллигента. Он ставил нелепые, бессмысленные вопросы и, естественно, не получив на них ответа, считал, что поставил интеллигента в тупик.

Конечно, большинство споривших считало, что в рассказе осмеяно невежество. Но некоторых не удовлетворяло, что молодой кандидат наук, с которым «сражается» Глеб, хотя и понимает всю абсурдность его разглагольствований, тем не менее возражает ему очень слабо, не считает нужным дать ему должный отпор. У Глеба Капустина находили даже некоторые привлекательные черты: смелость, напористость.

Для разрешения спора позвали Шукшина. Он выслушал всех внимательно и серьезно:

— Глеб Капустин — невежда и демагог. Ему нет и не может быть оправданий. Никаких. Никогда.

Жизнь Шукшин любил очень. Людей любил. Все фальшивое, надуманное не воспринимал органически. Ложь ненавидел.

— Надо бы стараться, — говорил он, — жизнь сделать краше! Пусть радуются люди-то.

«В восемнадцать лет самая пора начать думать, ощущать в себе силу, разум, нежность — и отдать бы все это людям. Кому же еще? Вот — счастье по-моему», — писал Шукшин в статье «Монолог на лестнице».

Мне вспоминается, что еще в самых первых рассказах Шукшина внимание остановилось на одной особенности, важной, мне думается, для всего последующего его творчества.

Герой одного из рассказов — «многоопытный» председатель колхоза, привыкший хитрить и изворачиваться, где надо козырнуть перед начальством, лихо выступить на собрании, а где надо и смолчать, и скрыть свои неблагоприятные действия. И вот этот-то, что называется, тертый калач встречается с человеком, который спокойно и просто говорит правду, не ловчит, не виляет, ничего для себя не выгадывает, нет, просто говорит правду, пожалуй, даже в ущерб себе.

Зло и горько становится на душе у председателя «...от сознания, что человек, сидящий рядом с ним, имеет смелость быть правдивым и прямо смотреть ему в глаза...»

Рассказ так и назывался — «Правда».

Говорить народу о нем самом, о его жизни правду — в этом Шукшин видел высшее назначение искусства, это было его личной целью. «Нравственность есть правда. Не просто правда, а — Правда. Ибо это мужество, честность, это значит — жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Правду».

Так писал Шукшин в 1969 году в статье «Нравственность есть Правда». Таким он и остался до последних дней своей жизни.